

между генезисом и поэзисом. Традиционно посредством генезиса порождается, сохраняется и приумножается природа, тогда как поэзис, переходящий в массовое производство, обеспечивает искусственную среду обитания, так сказать, все артефакты человеческого мира. Философы (не все, правда) уже давно утверждали, что самое существенное, собственно человеческое в человеке производится посредством поэзиса, — по сути дела, исключением оставалось тело, уже давным-давно оно оказалось в отстающих. Тело выполняло и все еще выполняет роль замедлителя, ограничивающего разброс пробного бытия. Поэзис, будь он стихосложением, сочинением музыки или же товарным производством, при всей своей устремленности к перепричинению, к «замене дарового на трудовое», как говорил Николай Федоров, останавливался перед мощью естественного генератора (генезиса, порождения), и довольствовался внесением незначительных или слишком медленных поправок, куда можно отнести, например, элементы дизайна внешности (область приложения усилий косметики, стоматологии и т. д.), но также и установки искусственного отбора. Сегодня удалось наконец проложить скоростную трассу поэзиса, позволяющую рассматривать исходную органику в качестве сырья.

Теперь мы можем метафору «Золотого ключика» слегка конкретизировать. Мы обратим внимание на то, что Буратино вырезается не из полена, а из живого дерева, и стало быть, в его ситуативном самосознании сплетаются, по меньшей мере, три голоса или три зова: зов самого Древа, исходящий из сквозного генезиса всей природы, голос недоступного чурбачка (именно его, по преимуществу, озвучивают этика, мораль и право) и Зов будущего, зов грядущего Преображения.

Этот последний зов по-прежнему пребывает в *недорас- слышанности*, от чего напрямую зависит и свобода воли. Ясно одно: работа над ошибками идет, причем ошибки совершаются уже в процессе работы над ошибками. Но срок их исправления неуклонно сокращается.

Искусство забвения, или Не забыть забыть...

Прошлое — это самое страшное, что у нас есть.
И что с ним делать, это самая большая проблема.
М. Мамардашвили

Сцена из «Фауста»

Первый акт второй части трагедии Гете примечателен сценой, которая является ключом к финальной теме прощения Фауста. Измученный душевными страданиями герой лежит на цветущем лугу, пытаясь заснуть. В воздухе порхает хоровод маленьких эльфов и под аккомпанемент эоловых арф погружает Фауста в сон — сон забвения. В этом летаргическом сне ему предстоит избавиться от боли, причиняемой памятью о совершенных им вольно или невольно преступлениях (совершение и гибель Гретхен, убийство ее брата, смерть ее матери, утрата совместно нажитой дочери). Вина память, подавляя волю и иссушая желания, лишает героя последней силы — силы для продолжения жизни¹. Что еще остается Фаусту, стоящему у последней черты, «внутри себя глядящему, как в книгу», но находящему там лишь «скитальца», «выродка», «унылого подонка»? На этот вопрос дает ответ Мефистофель, прибегнувший к испытанному средству: в глубине гипнотического сна звучит команда «забыть!». Проснувшийся к новой жизни Фауст не вспоминает больше о Гретхен. Он исцелен. В нем пробуждается подавленная памятью воля к жизни. Комментируя этот эпизод, Г. Адорно пишет: «Сила жизни, в форме силы для дальнейшей жизни, уподобляется забвению. Тот, кто пробудился к жизни и встречает мир, где “все дышит жизнью вдохновенной”, и вновь возвращается “к земле”, способен только на это, он ведь больше не помнит ужаса от совершенного ранее»².

¹ Говоря «последнее», мы также имеем в виду «первое», ибо последним для человека всегда является его первое.

² Адорно Т. В. К заключительной сцене «Фауста» // Коллегиум. 2004. № 1–2. С. 191.

Похожее решение в подобной ситуации находит Гамлет, рассуждающий в известном монологе:

Умереть. Забыться.
И знать, что этот сон — предел
Сердечных мук и тысячи лишений,
Присущих телу. Это ли не цель
Желанная? Скончаться. Сном забыться.
Уснуть... и видеть сны? Вот и ответ³.

В отличие от фаустовского пассивного вверения себя демоническому началу, гамлетовское желание забыться выглядит более осознанным. Но и в том, и в другом случае имеет место весьма странный парадокс: Фауст, как и Гамлет, оказывается агентом *сознательной амнезии*. Они оба побуждают себя к тому, чтобы *не забыть забыть...*

*
* *
*

Природа возобновляющего жизнь *искусственного* забвения представляет собой одну из тех загадок, мимо которых привычно проходит памятьливое мышление. Точнее было бы сказать, «памятствующая установка», ибо речь идет о таком мышлении, которое, причислив память к числу важнейших человеческих способностей, легко находит в забвении лишь социальное и моральное зло. Руководствуясь чеканной формулой «Никто не забыт и ничто не забыто!», памятьствующая установка стремится противопоставить спонтанной силе забвения организующую роль архива. Она озабочена сбором, регистрацией и сохранением всего прошедшего от эрозии забвения. Поэтому в установке сознания, относящей памятьливость к числу высших добродетелей, а ее утрату к безусловному злу, о позитивной роли забвения не может быть и речи.

Между тем сцена из «Фауста» и замечание, сделанное Адорно, настраивают на осмысление именно такой роли. Стремление Фауста к забвению продиктовано отнюдь не малодушием, а мотивом духовной реинкарнации. Забвение, стирая картины поражения, освобождает от рабской зависимос-

³ Шекспир В. Трагедии. Сонеты : пер. с англ. М. : Художественная литература, 1968. С. 177.

ти от этих картин. Оно создает условие для перегруппировки жизненных сил и возвращения к позитивной стратегии. О таком забвении мы уже не должны говорить в терминах обычного беспамятства, морального отупения или постыдного бегства от реальности. Таким бегством для Гамлета и Фауста была бы смерть. Но, отрешенные от жизни, они обнаруживают способность к возобновлению позитивного действия. Забвение — негативный феномен в смысле отрицания интенции помнить. Но разве сущность негативного также негативна?

Традиционной обструкции забвения способствуют как минимум два обстоятельства. Первое связано с трактовкой памяти в качестве важнейшей человеческой *способности*. Забвение же представляется как феномен регрессии этой способности, чем негласно указывается на то, что само оно уже не мыслится в качестве какой-либо способности. По этой причине научное истолкование случаев провалов в памяти, явлений частичной или полной амнезии с самого начала включено в контекст исследования *мнемонических* процессов. Забвение истолковывается из сущности памяти, а не наоборот. При этом забывчивость рассматривается как временное прерывание памяти, то есть как явление утраты этой важнейшей человеческой способности. Последнее объясняется воздействием на душу неких по существу *нечеловеческих* сил, которые «по своему произволу» выхватывают из потока жизни фрагменты опыта, укрывая их в пространстве души отгораживающим экраном. Фактически тема забвения оказывается стиснутой в прокрустовом ложе оппозиции *сознательное–бессознательное*, где память — на стороне сознания, а забывание — на стороне бессознательного.

Вторым обстоятельством, осложняющим понимание природы забвения, является традиционный моральный ригоризм, состоящий в противопоставлении памяти забвению как добродетели пороку. Представление о том, что память несет в себе «добро созидания», а беспамятство — «зло разрушения», является традиционной, но поверхностно усвоенной нормой культуры. Оттенки негативного отношения к забвению колеблются от снисходительно-ироничной характеристики «дырявой», «девичьей» или «куриной» памяти до обличительной оценки беспамятства в качестве отсутствия

духовного трезвления и даже «греха против бога и церкви»⁴. При этом сама память понимается как один из механизмов производства вины. Особенно это характерно для христианской культуры, где память, по сути дела, — это «виновная память». Добродетель памяти здесь подчеркнута редуцирована к памяти о содеянных грехах. Если же говорить о традиционном обществе в целом, то проблема памяти здесь главным образом сводится к проблеме *верности* прошлому. Добродетель памяти освящена значимостью самой традиции, а верность прошлому означает преданность роду, племени, народу, стране, истории, культуре. Поэтому любая измена в мире господствующей традиции почти всегда определяется в терминах потери памяти. Изменить здесь буквально означает — забыть, стать «человеком без рода и племени», стать «Иваном, родства не помнящим».

Следствием такого, с одной стороны, когнитивного, а с другой стороны, морально-ригористического истолкования оппозиции *память-забвение* является ряд предрассудков. Первый — назовем его предрассудком прогрессистской установки — заключается в том, что «хорошая» или «твердая» память объявляется характеристикой зрелого ума, в то время как «плохая» («дырявая» или «короткая») — свойством инфантильного, недоразвитого сознания. Второй предрассудок — это предрассудок школьного образования, состоящий в убеждении, что забывается легко, а запоминается с трудом. Третье предубеждение связано с представлением о том, что важные события глубоко врезаются в память, в то время как незначительные «мелочи» практически не оставляют следа. Наконец, четвертый предрассудок заключается в устойчивом мнении о том, что забвение как таковое губительно для общества и культуры. Оно нарушает работу механизмов исторической преемственности. С этой точки зрения «забвение есть символ уязвимости всего исторического состояния в целом»⁵.

Притом, что данные представления не беспочвенны, они потому и предрассудки, что основаны на невхождении

⁴ См.: Перечень наиболее распространенных грехов с объяснением их духовного смысла. М. : Сретенский монастырь, 1999.

⁵ Рикер П. Память, история, забвение / пер. с фр. М. : Изд-во гуманитарной литературы, 2004. С. 402.

в существо дела. Что касается мнемонических способностей носителей «незрелого ума», к каковым обычно относятся дети, то эти способности у них на порядок выше, чем у взрослых. И это касается не только способности запоминать, но и способности забывать. Мир взрослых полон вещей, которые с трудом предаются забвению, что само по себе опровергает другой предрассудок — о легкости забывания. Забывчивость детей — признак захваченности бытием, а также форма проявления их свободы — *свободы не помнить*. Мир взрослых — это мир постоянного принуждения к прошлому, которое подчас доводит человека до состояния раба — раба у собственной памяти. Старая, человек сгибается под ношей воспоминаний, в то время как ребенок активно осваивает и завоевывает мир. Поэтому, характеризуя зрелое состояние (культуры или отдельного человека), мы вправе дать обратно симметричный ответ: *помнить легко, а забыть трудно*. Что касается третьего предубеждения относительно того, что помнится только важное, а прочее забывается, то и оно не является безоговорочным. «Важное» и «значительное» — оценочные категории, содержание которых определено теми или иными культурными фильтрами. Важное в нормативном смысле — не всегда самое существенное. Существенное может быть скрыто в видимых «мелочах». Психоаналитическая практика дает много примеров того, как память может быть фиксирована именно на мелочах, в то время как наиболее существенное для индивида как раз предано забвению. Что же касается расхожего мнения о том, что забвение губительно для истории и культуры, то и в этом вопросе не все столь однозначно. Очевидно, что память является не только хранильницей культурного и исторического багажа, но и жестокой мучительницей, отравляющей индивидуальное существование и захламляющей культуру этим багажом.

Указанные предрассудки сводят забвение либо к психической или культурной патологии, либо к заурядной забывчивости, возникающей ввиду отсутствия у отдельного человека или общества в целом «длинной воли» и должной организации процессов памяти. Между тем, мы имеем дело с гораздо более сложным феноменом, нежели состояние «короткой» памяти «Иванов, не помнящих родства». Память сама по себе приковывает человека к прошлому, к традициям тех мертвых

поколений, которые, по выражению К. Маркса, «тяготеют как кошмар над умами живых»⁶. Память, как считал Ф. Ницше, или пригибает человека «вниз, или отклоняет его в сторону, она затрудняет его движение, как невидимая и темная ноша»⁷. Забвение же, напротив, высвобождает его из-под тяжести исторического груза. Оно не просто есть регрессия памяти как мнемонической способности, но и само есть некоторая способность — «способность восстанавливать из себя самого разбитые формы»⁸.

Мемориальная фальшь исторической бдительности

Бывают периоды в жизни отдельного человека и общества в целом, когда забвение оказывается спасительным механизмом культурной реинкарнации и экзистенциальной «перезагрузки». Забвение становится единственной силой, оказывающей сопротивление экспансии памяти. Мемориальная перегрузка приводит к параличу воли. На ее фоне способность человека и общества забыть бесславие поражений, катастрофу национального и/или личного унижения становится одним из признаков и оснований грядущего возрождения. Напротив, общество, благоговейно застывшее у подножия своих мемориалов, зачастую не может выбраться из-под руин истории. Личность утрачивает жизненную силу, общество — способность к модернизации. Примеры послевоенного восстановления Германии и «экономического чуда» в Японии, как и опыт текущей модернизации в Китае, говорят о том, что для возобновления позитивной линии развития необходимо в определенном смысле забыть: «забыть Гитлера», «забыть императора», «забыть Мао», «забыть Сталина». Забвение в «определенном смысле» здесь означает действие в режиме сознательной установки. Для того чтобы таким образом забыть, необходима объективированная структура напоминания. Примером такой структуры может служить

⁶ Маркс К. Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта // Избр. соч. : в 9 т. / К. Маркс, Ф. Энгельс. Т. 4. М. : Политиздат, 1986. С. 5.

⁷ Ницше Ф. О пользе и вреде истории для жизни // Соч.: в 2 т. Т. 2 / Ф. Ницше ; пер. с нем. ; сост., ред. и авт. примеч. К. А. Свасьяна. М. : Мысль, 1990. С. 161.

⁸ Там же. С. 163.

советская система мемориальных комплексов, посвященных героям и жертвам Великой Отечественной войны. В качестве овнешненных знаков памяти (памятников) эти комплексы являются средством забвения реальных обстоятельств и ужасов войны. Артикулируя «подвиг народа», они блокируют память о бесславных поражениях, предательстве, глупости и малодушии. Мемориальная фальшь идеологической программы коммунистической партии, отлитая в лозунге «Никто не забыт и ничто не забыто», в 70–80-е годы XX века стала самым мощным инструментом исторического забвения, одним из отдаленных следствий которого является современный русский неонацизм. Словами «Никто не забыт и ничто не забыто», как известно, заканчивается эпитафия, написанная поэтессой О. Берггольц для центральной стелы на Пискаревском кладбище в Санкт-Петербурге. Став лозунгом советской пропагандистской машины, эта фраза не одно десятилетие служила темой школьных сочинений. Вместе с тем в качестве идеологического клише, а не в качестве поэтического высказывания она является симптомом кризиса исторического сознания. Если следовать ее «духу», то нужно *жизнь* положить на разыскание и осознание прошлого, если же следовать «букве», то ее необходимо высечь на могилах мучителей и палачей. Один из парадоксов исторической памяти заключается в том, что памятные знаки служат тому, чтобы забыть.

Забвение прошлого может быть осуществлено двояким образом. Оно может быть вызвано преднамеренным сокрытием травмирующих воспоминаний. Но оно же может происходить и на фоне исторической памяти о прошлом. Речь, таким образом, идет о различии между *памятливым забвением* и *забывчивой памятью*. Данное различие имеет в виду различные модусы сокрытия. В случае *памятливости* забвения прошлое вычеркивается из памяти, но остается в ней как *зачеркнутое прошлое*. В случае *забывчивости* забвение осуществляется путем создания архива, внушающего уверенность в том, что прошлое захвачено и надежно пристроено. Гигантский архив самоослепленного исторического разума внушает иллюзию, что никто не забыт и ничто не забыто. Вместе с тем «помнит» в этом случае не человек, а исторический архив. В таком деловитом перепоручении памяти архиву обстоятельство забвения основательно скрыто.

Стало быть, особое коварство забвения заключается не в том, что мы что-то забываем, а в том, что мы подвержены этому именно тогда, когда полагаем, что находимся в «трезвой» памяти. «Мы все страдаем изнурительной исторической лихорадкой», — признавался Ницше⁹. Между тем, катастрофический опыт XX века дает ясные свидетельства того, что, несмотря на наличие гигантского архива, подспудно питающего гордыню исторического разума, человечество по-прежнему легко впадает в беспамятство. Непрерывная обработка сознания «уроками истории» не приносит желаемого результата. Современный «исторически образованный» человек отнюдь не победил в себе «Ивана, не помнящего родства». В этом отношении он даже заметно отстал от своих предков. И причина этого кроется не только в нерадивости учеников, но и в просчетах самой *Magistra vitae*. Учительница жизни сама отстала от жизни и по-прежнему сильна лишь задним умом. В заботливых предостережениях от ошибок прошлого от нее ускользнуло одно важное обстоятельство: настоящие ошибки не являются ошибками *прошлого*. Они — *настоящие* ошибки, и любые аналогии с прошлым возникают лишь после того, как эти ошибки уже совершены в актуальном времени. Вот почему на «ошибках прошлого» всегда учатся лишь задним числом.

Сегодня становится очевидным, что излишняя историческая назидательность способна породить обратный эффект забвения. Повсеместное историческое образование вкупе с производством всевозможных мемориалов (жертвам войн, геноцида, политических репрессий и т. д.) мало что изменило в структуре современной экзистенции. Более того, поспешное признание незащитности прошлого перед силой забвения и соответствующая реанимация исторической бдительности вызывают подозрение по поводу того, что за видимым почитанием исторического прошлого кроется бессознательное желание от него отделаться, а в ряде случаев просто откупиться. Набившая оскомину псевдоисторическая риторика, ставшая стилем современной публичной политики, зачастую имеет «коммерческий след» и служит прикрытием того постыдного факта, что за широкой ширмой мемориальных

⁹ Ницше Ф. Указ. соч. С. 160.

проектов «распиливаются» большие и малые государственные средства. Историческая памятьливость, осуществляемая за счет средств налогоплательщиков, имеет дурную наследственность. Тревожный парадокс нашего времени состоит в том, что высеченные в камне лозунги типа «Никто не забыт и ничто не забыто!» производят обратный эффект беспамятства. А посему растущий тренд мемориального историзма не внушает доверия. Может быть, человечество потому и впадает в культурно-историческую амнезию, что, руководствуясь одной лишь идеей памятьливости, не желает понять природу забвения.

Жизнь, подчиненная архиву

Между тем, признание памяти в качестве высшей ценности и безусловного достоинства на одном полюсе культуры и ценностная обструкция забвения на другом создают явный перекося в сознании и, как следствие, экзистенциальную асимметрию в человеке. Эта асимметрия выражается в том, что, поглощенный *чужим* прошлым, он все больше пренебрегает *своим* настоящим. Даже когда человек становится летописцем собственной жизни: ведет интимный дневник, хранит всевозможные записки, рисунки, фотографии, открытки, сувениры и прочие мемориальные атрибуты прошлого, он упускает осуществленность жизни в настоящем времени. Происходит переподчинение настоящей жизни архиву — своему прошлому, спроецированному в свое будущее. Такое переподчинение скрытно встроено в повседневную жизнь и ею правит.

Взять, к примеру, внешне безобидный феномен «фотографии на память». Когда фотограф вооружается своим аппаратом, он *заранее* помещает еще не произошедшее событие в архив прошлого. Еще даже не снятая достопримечательность, будь то дымящийся водопад или падающая башня, уже зачислена в архив *будущих воспоминаний*, уже берется из него и демонстрируется в воображаемом сценарии отношения к *будущему прошлому*. Фотоаппарат сегодня — это прибор для конвертации будущего настоящего в будущее прошлое. Такому прошлому в равной мере вручены и настоящее, и будущее время.

Жизнь, подчиненная архиву, становится фантазмом профессионального историка. Мне доводилось иметь знакомство с одним уникальным представителем этого ремесла, который, будучи одержимым идеей исторической значимости собственной биографии, вел «поминутную» запись своей жизни. На вопрос о смысле такого занятия он ответил в том духе, что главное — записать, а потомки сами разберутся... По свидетельству очевидца, спустя пару минут после того, как этот разговор состоялся, он был записан мелким почерком в блокнот.

В самом деле, какой историк хоть раз не мечтал иметь «поминутную» запись жизни великой исторической личности, например Александра Македонского? И это несмотря на то, что наличие такой «летописи» в значительной мере обесмысливало бы труд самих историков, состоящий в реконструкции отсутствующих фрагментов прошлого. Одержимый «фантазмом историка», царь Александр должен был бы приставить к своей персоне отряд летописцев, обязанных сопровождать его повсюду. Сражаясь в баталиях и пируя бок о бок с императором, держа в одной руке меч или кубок, а в другой — перо, они должны были бы проживать две жизни: за себя и «за того парня». Спрашивается, почему действительные исторические личности в подавляющем большинстве этого не делали, хотя многие из них (тот же царь Александр) могли себе это позволить? Желание избавить историю от свидетельств собственных ошибок или преступлений? Сомнительно, ибо историческая оценка все равно будет вынесена потомками и к тому же много раз пересмотрена ими. Намерение не перегружать архив житейскими мелочами? Сомнительно вдвойне, ибо все, что делает великий император, — равновелико ему. Ответ прост: творцы истории творили ее, творя собственную жизнь, то есть отдавая дань настоящему и возлагая бремя исторической рефлексии на будущие времена. В отличие от историка, который предъявляет *прошлое* к осмыслению, историческая личность предъявляет *настоящее* к проживанию. История, как говорил Ницше, «нужна нам для жизни и деятельности, а не для удобного уклонения от жизни и деятельности»¹⁰. Настоящее же, то есть бытие, не нуждается

¹⁰ Ницше Ф. О пользе и вреде истории для жизни. С. 159.

в памяти, ибо оно и так есть «здесь» и «сейчас». Событие бытия не стоит заранее погружать в горизонт памяти, потому что память есть особый способ присутствия того, чего уже в определенном смысле нет. Сама суть настоящего требует от нас мыслить и чувствовать *неисторически*.

Прошлое дано нам в качестве следов, то есть того наследия, о котором следует помнить. Однако тотальная регистрация следов парадоксальным образом подрывает интенцию памяти. Зачем помнить, если есть архив? Ницше, противопоставивший *историческую* памятность *неисторической* жизни, пропустил один важный момент. Считая, что «избыток истории» подавляет человека, в то время как в забвении проявляется пластическая сила жизни, он не обратил внимания на то, что гипертрофированный историзм сам может оказаться формой забвения. Только забытым, то есть, буквально, поставленным *за бытие*, здесь оказывается не столько определенное прошлое, сколько само настоящее. В увлеченности историей оказывается забытой, экранированной, заставленной настоящая жизнь. Ошибка гиперисторического сознания состоит в том, что предлагаемый им способ борьбы с забвением — фронтальная архивация прошлого — предает забвению сущность самого забвения. Между тем, память нуждается в нем как в силе сопротивления, поскольку помнить можно лишь то, что подвержено забвению. Это значит, что забвение является сущностной стороной памяти и как таковое играет позитивную роль в том, как устроена наша жизнь.

Ars oblivionis, или Не забыть забыть...

Вопрос о позитивной роли забвения отсылает нас к такой малоизученной теме, как *ars oblivionis* — искусство забвения. Слово «искусство» ориентирует на некое дело, на некую технику, реализуемые в сознательной установке «забыть». Такое забвение не связано с дисфункцией памяти. Оно также мало соответствует психоаналитическому механизму вытеснения, поскольку он имеет природу бессознательного. В случае сознательной «амнезии» имеет место операция укрытия, своего рода блокада прошлого, в котором, однако, не стерты его следы. *Ars oblivionis* — это искусство создавать и удерживать дистанцию по отношению к образу, а не простое отсутствие этого образа в памяти. Историческая точка зрения

здесь не уничтожается, а оттесняется на задний план сознания. Сознание становится не *внеисторическим*, а *над-историческим* сознанием.

Ярким примером такого рода забвения может служить случай из биографии Канта. Однажды его слуга Лампе, на протяжении многих лет преданно служивший хозяину, был уличен в мелкой краже и по этой причине уволен. Кант, будучи не склонным к переменам в жизни, но крайне огорченный этим неприятным событием, поместил на своем письменном столе записку с курьезным напоминанием: «Забыть Лампе!»

Содержание этой памятки само по себе — свидетельство глубокого разрыва в мотивационной сфере философа. Этот разрыв является частным случаем той общей проблемы, которую Кант осмыслил как противоречие между *склонностью* (простить Лампе) и *долгом* (уволить). Однако курьезность этой записки заключена не в этом, а в том, что это, по существу, — запись, сделанная «на память». Иными словами, противоречие заключено в самой интенции: «не забыть забыть». В случае сознательно осуществляемого забвения мы имеем дело с весьма странным парадоксом исторического сознания, состоящим в том, что *вычеркивание из памяти* осуществляется путем *записи на память*. Вместо того, чтобы просто забыть, необходимо вспомнить о забвении.

Спрашивается: как возможно такое сознательно и добровольно практикуемое «беспамятство», если, с одной стороны, это требует субъекта, а с другой стороны, субъект сам в определенном смысле теряет — забывает себя? Забвение ведь в каком-то смысле есть *самозабвение*. Установка «забыть Лампе!» в таком случае означает: «забыть Канта!», то есть забыть *себя любящего*, забыть свою привязанность к старому товарищу. Вместе с тем само понятие *активной* амнезии требует некоторого деятеля, некоторого «субъекта забвения». Каким же образом субъект может быть «приставлен» к забвению?

Этот вопрос связан с одним затруднением. Дело в том, что забвение традиционно понимается как *пассивное* состояние духа, в которое человек погружается незаметно для себя самого. Память же, напротив, характеризуется как проявление *активности* субъекта. С этим связано типичное представление о том, что в забвение погружаются, как в сон, а к памяти возвращаются, как в бодрствующее состояние духа. При этом

«забыть» кажется естественным, в то время как «вспомнить» предполагает сверхъестественное усилие — искусственный акт трансцендирования нашей «естественной» склонности забывать¹¹.

С этой точки зрения такие выражения, как «сознательная амнезия» и «искусственное забвение», кажутся бессмыслицей, чистой воды оксюмороном. Однако они выражают парадоксальное устройство самой сознательной жизни и должны быть отнесены к целому ряду странных явлений, которые едва ли точно описываются терминами «добровольное сумасшествие», «контролируемая глупость», «делание неделания», «преднамеренный самообман». Данные феномены указывают на наличие парадокса *активной пассивности* (или *пассивной активности*), выводящего нас далеко за пределы субъект-объектной парадигмы мышления. Наличие такого парадокса представляет собой перспективную тему исследования, поскольку активное введение себя в пассивное состояние и столь же активно-пассивный выход из него являются загадкой многих душевных состояний. Этот парадокс характеризует обе стороны отношения память–забвение. И забывание, и воспоминание — это состояния, которыми человек не только управляет, но и которым он *предается*. Предаться воспоминаниям — значит быть вовлеченным в их поток. Зачастую, чтобы вспомнить, необходимо забыть, то есть выключиться из процесса активного припоминания, который ни к чему не ведет. Припоминание может потребовать расслабления, в то время как *ars oblivionis*, напротив, — напряжения сил.

Парадокс *активной пассивности* характеризует любое сознательное чувство. Способность целиком предаваться чувству — это способность в течение времени, пока длится это чувство, чувствовать себя неисторически, то есть не оглядываясь назад. Вместе с тем *сознательное* чувство, в отличие от просто чувства, есть некоторым образом организованное усилие. Это усилие скрытым образом участвует в состоянии пассивной

¹¹ М. К. Мамардашвили по этому поводу пишет: «Естественнее — забыть, а культура — помнит. По природе я забуду... но помню» (см.: Мамардашвили М. К. Необходимость себя. Введение в философию, доклады, статьи, философские заметки. М.: Лабиринт, 1996. С. 21).

вовлеченности. Так чувствует актер, когда смеется или плачет на сцене. Его страдание не искусственно, а искусно. Чтобы быть органичным на сцене, он должен отдаваться чувству всецело, но при этом соответствовать создаваемому образу и умело им управлять. Он по собственной воле, не по наитию, должен «входить» и «выходить» из образа. При этом он должен контролировать свои чувства, следуя за настроением аудитории. Этот контроль, однако, носит не характер открытого управления, а тонкой настройки, не производства «события», а участия в нем. Активная пассивность носит характер «неслышного веления», о котором говорил Лао-цзы, имея в виду характер влечения к Дао. «Неслышное веление — то, что таково само собой» [23:1]¹².

Искусство забвения как искусство управления собственными силами существенным образом зависит от состояния этих сил. Когда героиня романа М. Митчелл Скарлетт О'Хара говорит себе: «Я не буду думать об этом сегодня, я подумаю об этом завтра», она исходит из своих наличных возможностей. Завтра, когда наступит новый день, когда появятся силы для решения проблемы, она о ней обязательно вспомнит. *Ars oblivionis* оказывается весьма тонкой игрой с самим собой, в которой не ясно, кто в какой момент является субъектом. Эта хрупкая женщина оказывается сильнее многих окружающих ее мужчин именно тем, что она обладает силой забвения, которая становится способом самопрощения. Такая игра «в поддавки» представляет собой интригу памятливого разума, который в какой-то момент должен на самого себя «закрыть глаза», хотя бы на время, пока не появятся силы, чтобы помнить и действовать, выдерживая прямой взгляд на вещи.

Забытое не есть просто забытое. Оно зовет и мучает, принуждая к воспоминанию. Оно так или иначе явлено в опыте. Поэтому чистым забытием является забвение самого забвения, которое скорее достигается в иллюзии памятности (мемориальное забвение). *Ars oblivionis* отличается тем, что человек, забывая, помнит. Такое забытие является средством прощения, которое и получает Фауст в финале трагедии Гете.

¹² Дао-Дэ цзин, Ле-цзы, Гуань-цзы: Даосские каноны / пер., вступ. ст. и примеч. В. В. Малявина. М.: Астрель: АСТ, 2002. С. 151.

Оно также может быть инструментом самообольщения и самообмана, но это уже другая тема.